

ДЕД УШАТИЙ

Тут-то у ворот и с дедом Пантелеймоном Кузьмичом познакомилась. Бабушка не раз рассказывала ей о стареньком одиноком дедуле, которого в Куюмбе многие величали Ушатием Богатеичем. Когда и откуда появился, сколько ему лет – никто не знал. Помнят только, что был всегда. Со светлым, добродушным лицом, сухонький, скорый на дела старичок. То его в тайге кто-то видел, а то уж на сухом болоте цапой грабает бруснику, чтобы под вечер сесть на лавочке у магазина и раздавать её пригоршнями ребятишкам да молодухам.

Ушатием селяне прозвали за то, что всю поклажу из дома и в дом Пантелеймон Кузьмич носил только в старом алюминиевом ушате. Держал его, на всякий случай, всякую минуту при себе. С ним и на сельские сходки приходил, и в клуб кино посмотреть.

Грамоте, видать, Пантелеймон Кузьмич обучен не был. Вместо подписи слюнявил химический карандаш, рисовал кружок, а внутри ещё два малюсеньких. Получалась смешная рожица. Да и счёта деньгам тоже не знал.

Однажды почтальонка Люся Свиридова принесла ему пенсию. В дом зашла тихо: «Чем старикашка тут занимается?». А он сидел себе на пенёчке у плиты и пытался разжечь дрова новыми десятирублевыми купюрами. Те никак не разгорались, и Пантелеймон Кузьмич, рассердившись, бросил в топку всю денежную пачку.

— Что ж ты наделал, лешак эдакий! Чем жить-то станешь?!

— Каво там! Тайгой да рекой завсегда кормился и кормлюсь, а это – так, мусор, — и безглаголиво огляделся вокруг: весь ли собрал его для топки?

Так удостоился отчества, став Ушатием Богатеичем.

В тот день Пантелеймон Кузьмич шёл от опекуниши Прасковьи Зыковой с двумя увесистыми сумками недельного запаса продуктов. Чего только она не наложит ему. Всё-то мягонькое да вкусненькое: сгущёнка, колбаска. Соседскую девчонку приметил и окликнул издалека.

— Эй! Как звать-то, сударыня?

— Катя, — ничуть не смущаясь, ответила та.

— А по батюшке?

— Значит – кто мой папа, да?

— А то и есть.

— Алексей Павлович Селезнёв.

— Вона как! Да ну ты... Стало быть, Катерина Алексевна Селезнёва. Баско, баско. Так и нашу царицу, царствие ей небесное, величали. Дык, пойдём в гости ко мне. Конфетки поедим, медовой патокой запьём. Из дикого-то меду она очень пользительна.

— Сейчас бабушке скажу, а ты подождёшь меня, деда Ушастик? Можно, я буду так тебя называть? Бабуля бы не разрешила. А я не могу выговорить твоё рогатое имя. Папка с охоты приносил домой панты от марала. Знаю.

— Валяй, девка, привык уж. Иди, отпрашивайся. Подожду, как же. Кланяйся Зое Фроловне. Светлый человек, светлый...

Через минуту Катя вновь крутилась у ног Пантелеймона Кузьмича.

— Деда, а ты леший или богатея?

Тот хитро улыбнулся и подмигнул:

— Богатей-то, незнамо, какой уж, а золотишко имею. Таскаю, пока Бог даёт, со своих малых речушек. Уж отложил себе на тризну. Целых полкисета. В сельсовет Прасковье Зыковой до грамма снёс. Говорит, хватит с гаком.

Катя внимательно вслушивалась в певучую дедулину речь, многое не понимала, но степенно кивала красивой белой головкой.

— Поди, знашь Прасковью-то? Умная баба, и с лица ничего. Кабы годков помене, засватал бы. Честная. Бумажку с печатью на золото дала. В ней прописано, скоко ей дадено, и для какого дела его употребить должна. Пущай на моих поминках посёлок от

души погулят. Водочки мужики да бабы попьют вдоволь. Правду говорю, Катерина Алексевна, а? Чо молчишь-то? Как мыслишь, так и скажи.

— Бабуля не велит папке напиваться. Плохой он, пьяный-то. Мы с ней и окна открывали, потому что у него изо рта бякой пахло.

— Милая, дык, в народе так повелось, не мной придумано. Помер, давай поминки, кабы чего худого о тебе не подумали. Водка – она всем душу мягчит. Глядишь, и вспомнят доброе обо мне, грешном. Знамо дело. Урону никому не чинил. Жил да жил. Вишь, и золотишко от людей не затаил.

Кате очень уж захотелось быть тоже не беднее Пантелеймона Кузьмича. Долго не думая, припомнила: и у них что-то золотое есть.

— У нас, деда, тоже в предбаннике три куля с золотом стоят. Маба Зоя их под рогожкой прячет. Камушки – с мой кулак. На солнце блещут-блещут. Бабуля их трогать не велит. Говорит, зимой нашему золоту цены нет. А какое у тебя, золото?

— Знамо како – чисто солнышко, жёлтое.

— А у нас – чёрное! — хвастливо подчеркнула Катюша. Пантелеймон Кузьмич только лукаво улыбнулся.

— Вот и ладненько, дева. Вот и вы богатеи. Золото, оно ведь у каждого своё. И каждый ценит его по своей надобности да потребности.

Малышка с пониманием посмотрела на него, заулыбалась.

— А не отправиться ли нам, сударушка, к Сухорукой скале? Слыхивала, небось, от бабули о такой горе?

— Она мне её даже показывала. За нашей баней вдалеке стоит. Там птиц видимо-невидимо.

— Во-во! Об них и мой сказ. Хошь?

— Я птичек люблю. У нас на подворье да в огороде папка скворечников наделал. Туда они к зиме слетаются. Мы с бабулей корм им разносим. Пшено да сало. Надо, чтоб не солёное было, а то птички отравятся. Соль для них – яд. Так папка мой говорит. А летом скворечники пустые. Птичкам в лесу и на Кочоме веселее. Там их, ого-го, как много. Я недавно на речке видела. С большими белыми крыльями.

Быстро глянув на Пантелеймона Кузьмича, вдруг умолкла. Зоя Фроловна наказывала ей о синих цветах и мостках на Кочоме, где она цветы от пыли ополаскивала, никому не рассказывать. Чтоб отец не узнал. А то ремня ей не миновать.

— Ты, дева, каких птиц больше уважаешь?

— Всяких, деда Ушастик, но сильнее всех снегирей да ласточек. Мы с бабулей много про них читали. А ты, деда, их любишь?

— Как же! Да боле крупных жалую: глухарей, тетеревов. Ух, каки царь-птицы! Что пением человека ублажат, что накормят досыта. Птахи сии Богом дадены. На уважение рода человеческого. А кого, Катерина, в лесу боле боишься?

— Медведей, деда Ушастик. Мне в тайгу нельзя. Я маленькая.

— О птицах с тобой говорю, а ты амакана вспоминашь!

— А-а-а...Филина боюсь. У-у, большой! И злой. наших гусяток поел. Папка их из города привёз. Такие маленькие, пушистенькие. А филин налетел и давай их бить клювом да глотать. Фу, какой плохой, страшный!

— Чо касаемо медведя, то и он сейчас не страшен нам. Какой ему прок в нас? Его тайга с Кочомой сытно кормят. Но туды не пойдём, а вот гнёзда на Сухорукой тебе покажу. Не видала гнёзд-то?

— Нет, деда Ушастик.

— У-у! Тыш-ши. Взять, хочь, сарыча. Вдоль тропы на деревьях увидишь. Крикливый, занудный сарыч-то. Всё «киии ... кии». Вроде, кого кличет. В наших местах – гость. Подростит выводок – и айда на юга. К теплу жмётся. Оно и верно. Всяк к теплу тянется. И подорлик ему сродни. А покриком ещё звонче сарыча тайгу оповещат: «кьяк-кьяк-кьяк».

Они долго бродили по птичьему базару. Возвращались домой довольные друг другом и

певучим, доверчивым птичьим миром.

— До свидания, деда Ушастик. Приходи к нам. Бабуля блинами да шаньгами накормит. Она добрая. Да, чур, про наш поход к птичкам не сказывай. Ох, и попадёт мне! И Антошка опять отлупит. Хотя больше словами строжит, а бьётся не больно. Один раз побил, когда я чуть в Кочому не свалилась.

И по секрету, как и маме Зое, рассказала Пантелеймону Кузьмичу про свой прыжок с обрыва, синие цветы и скользкие, шатающиеся во все стороны мостки на говорливой Кочоме.

— Так поделом тебе, кочомская дочь, досталось от мальчика-то. Ты Антона завсегда держись. Худого не пожелат. У него ого-го родова-то кака была. От самого Ермака Тимофеича корни. Чо и говорить, одним словом, ермаковские, они – мужики! С умом да силой. Он, видать, по ихой породе пошёл. Крепкий будет парень.

— Деда, ты не верь, если Антошка на меня жаловаться станет: «Непослушная! Бабулю не бережёт!». Я её очень даже берегу! Часто мамой называю. И таблетки бегом приношу, и по дому помогаю.

— И ты, Катерина – свет Алексевна, в отместку, не верь, коль, про меня, что деревня наболтает. Мол, леший, либо чево другого-разного. Быват, и подурачусь, почудохаюсь. Так это, дева, от тоски по людям, чтоб нутро вовсе не замерло. Поговорить-то не с кем. Вишь, к тебе прикипел. Хочь и дитя, а всё ж существо разумное, с понятием. Не забывай свово деда Ушастика, прибегай погостевать, душу замороженную мне согреть.